

**ЕЛЕНА
УСПЕНСКАЯ**

ОСТОРОЖНО,

ЛЮБОВЬ





ЕЛЕНА УСПЕНСКАЯ

ОСТОРОЖНО,

ЛЮБОВЬ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

БОСТОН • 2025 • BOSTON

Елена Успенская

Осторожно, любовь... (повести и рассказы)

Elena Uspenskaya

Careful: love... (Novellas and Short Stories)

Copyright © 1964 by Elena Uspenskaya

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-970342-01-7

Печатается по изданию:

Успенская Елена Борисовна Осторожно, любовь...
Повести и рассказы. М., «Молодая Гвардия», 1964

Оформление художника В. Пензина
Заставки художника С. Куприянова

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 www.mgraphics-books.com

 mgraphics.books@gmail.com

Отпечатано в США

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Об авторе</i>	7
Первенец города	11
Зёрна	20
Письмо от шестнадцатого июля	29
Отец.	37
Голос за сценой	49
Старшая сестра.	60
Четверо у костра.	74
Я звоню с аэродрома....	87
Донька с реки Бирюсы	115
Никита и его друзья.	161

ОБ АВТОРЕ

Елена Борисовна Успенская печататься начала рано. С 1942 года Елена Успенская работает сначала в «Пионерской правде», затем в «Комсомольской правде» разъездным очеркистом. Разъездной очеркист — человек, который много ездит по стране, много встречается с людьми. Это определило и дальнейшую её жизнь как писателя, который не устаёт искать новое, не может жить оторвано от людей.

С первых лет войны Успенская систематически выступает с очерками и рассказами в «Правде», «Комсомольской правде», «Огоньке», «Смене».

Очерки за двадцать с лишним лет Успенская собрала в книгу «Вчера. Сегодня. Завтра». Они связаны с раздумьями автора. Это своеобразный отчёт о публицистической работе.

Первая часть книги, «Вчера», посвящена войне и послевоенным годам. «Завтра» — самому главному в будущем — детям. «Сегодня» — это сегодняшняя жизнь страны и автора. Тут и повесть о молодых прядильщицах, очерки о грандиозных стройках Сибири и Конгрессе мира.

В соавторстве с поэтом Львом Ошаниным Елена Успенская написала две пьесы — «Твоё личное дело» и «Я тебя найду».

Но главным для писательницы остаётся проза, лучшие произведения собраны автором в эту книгу. О ней я и хотел бы поговорить.

Предмет живописания Елены Успенской — самая доподлинная, каждодневная советская жизнь, раскрывающая своё внутреннее содержание, свой высокий человеческий смысл в каждом проявлении, каким бы малым

оно ни казалось на поверхностный взгляд. Автор не нуждается ни в каких внешних эффектах, чтобы привлечь внимание читателя к своему повествованию. Автор не декламирует, не декларирует — она просто рассказывает, и всё, что она имеет сказать, без остатка растворено в тексте. Искусство не нуждается ни в авторском комментарии, ни в полиграфическом подчёркивании. А ведь у нас есть ещё немало писателей, которые, что называется, шагу ступить не могут без восклицательного знака или разрядки, маскирующих невыразительность текста и эмоциональную вялость автора, не способного ни сильно любить, ни сильно ненавидеть.

Е. Успенская любит людей — не людей вообще, как некую категорию, а живых, в живом обличье, во плоти и крови, — девушек Доню и Варю, чистые, ясные души; старого врача Ивана Даниловича; «строгую юношу» студента Никиту Орехова, лётчика Шуру, верного человека; и во имя этой любви она страстно ненавидит дурных людей, состоящих как бы в хитром заговоре против добра и красоты. Именно в этом скрытый пафос её писательского труда.

Меня особенно привлекает в творчестве Елены Успенской «обыкновенность» её персонажей, «обыкновенность» их человеческих путей и судеб — при «необыкновенности» их душевных, моральных качеств. В этом есть большая и простая правда, традиционная в русской литературе, как ни велико различие между старой, до-революционной моралью и новой, советской. Автор досконально, душевно знает то, о чём пишет, она и сама испытала все трудности, радости, печали, утраты, восторги, боль поражений и счастье побед — словом, всё то, что пришлось на долю последних двух поколений советских людей. Отсюда и та достоверность и та добрая улыбка, с какой она живописует своих «больших маленьких» современников.

Я не ставлю себе задачу «отозваться» на все произведения данного сборника, подытоживающего четвертьвековую писательскую работу Е. Успенской. Скажу толь-

ко, что все они носят на себе явственный след времени, в какое написаны, отражают его стремления, думы, мечты, страсти, деяния, его душевный опыт. Автору интимно знаком внешний и внутренний «быт» многих профессий: биологов, геологов, строителей, врачей, медсестёр; пейзажи, люди и особенности Дальнего Севера, Юга, Сибири, Средней России, — видимо, автор много ездила и долго, «внимательно» жила на местах; сложная университетская жизнь, которой посвящён роман «Никита и его друзья», каждодневность больницы, школы, театральных кулис. Об авторе можно смело сказать, что она знает жизнь в её широком разливе, знает страну, людей. И всё это не понаслышке, а в подробностях, с точностью и тонкостью, обязательной для художника, дорожащего доверием читателя...

Если читать произведения Е. Успенской в порядке их написания, то отчётливо видишь, как увереннее становится рука автора, крепнет уменье, утверждается лаконизм, слово обретает всё большую силу и выразительность. Но неизменным остаётся одно: редкий дар видеть «в обыкновенном необыкновенное», дар, присущий лишь человеколюбцу, лишь тому, кто умом и сердцем постиг самую душу нашей советской современности. Не случайно книга названа «Осторожно, любовь...». За светлые чувства, чистую любовь, верную дружбу активно борется писательница.

Хочется пожелать автору и в дальнейшем — говоря её же словами — «трудное, тревожное, радостное, непрерывное движение вперёд».

Ю. Нагибин



ПЕРВЕНЕЦ ГОРОДА

Алёша проснулся внезапно. Комната выглядела как-то необычно, хотя всё было на своих местах: книжный шкаф, медвежья шкура на полу, темноволосая голова Никиты на подушке, поставленной углом, как сугроб. Оглядевшись, Алёша понял, что этот необычный свет идёт из приоткрытой двери столовой. Там было тихо.

Только потрескивали в печке дрова и громадная тень отца колебалась на стене. Он работал за столом.

Мама Алёша не видел, но знал, что она дома. Он чувствовал это по какому-то еле слышному шелесту, по спокойствию в позе отца. Алёша лежал, притихнув, наслаждаясь ощущением тепла, которое исходило от жёлтого луча света, полный того радостного ожидания, какое всегда бывает накануне праздника. Наверное, сегодня они будут украшать ёлку.

— Так-так, — сказал отец и со стуком положил на стол лупу.

Видимо, они говорили о чём-то ещё тогда, когда Алёша спал, и отец не мог оторваться от работы. Теперь он встал, тень на стене тоже поднялась. Щёлкнула дверца шкафа: отец прятал свои камни. Алёша хорошо знал этот шкаф. Там лежали лучшие находки отца, гордость геолога: зеленоватые, словно посыпанные сахаром, апатиты и угловатые куски голубых нефелинов — камней, ради которых в горах за Полярным кругом родился и вырос их город.

— Так ты говоришь, дерзит? — снова заговорил отец.

— Да, — голос у матери был огорчённый. — И знаешь, как-то небрежно, глупо дерзит.

У Алёши сразу кровь прилила к щекам. Как это он сказал сегодня маме? «Мне не до твоих дров, у меня география, все реки будут спрашивать...» И за географию тройку принёс, а дров так и не наколот.

— Это возраст такой, — снова услышал он голос отца. — У песцов называется — недопёсок... Это пройдёт, Маша. Я тоже такой был, честное слово.

«Недопёсок»! Алёша обиделся на отца. Тоже придумал!

— Балуешь ты их, Маша, — продолжал отец. — Они дерзят, а ты вот костюмы гладишь, не спишь. Подумаешь, женихи какие!

— А ты на завтра всё купил? — невозмутимо спросила мама.

— Купил. Да, ты шампанского велела, а я не достал. Говорят, завтра на станции будет. Съезжу, — сердито, но

послушно сказал отец и прибавил: — Вот ты даже не слушаешь, я тебе дело говорю, а ты про подарки.

Алёша сел в кровати, чтобы получше слышать, но они молчали.

«Интересно, что купил отец? Для Никиты подарок, наверное, лучше, ведь ему не только к ёлке, ему завтра шестнадцать лет. Счастливец этот Никита!.. Мало того, что родился под Новый год, — это тоже не всякому удаётся, — он ещё первый мальчик, который родился в городе, — первенец города. Его так ещё в детском саду звали». Алёша спросил как-то маму: «А я второй мальчик в городе?»

Она даже растерялась. «Куда там! За год полный город мальчишек набрался, и откуда только взялись!»

— Я знаю, что надо построже, — виновато заговорила мать. — И с тобой надо построже и с мальчишками, все вы у меня избаловались... Только ведь я не умею строго. Люблю я вас всех очень.

Алёша спустил ноги с кровати. Сейчас он пойдёт в столовую и скажет: «Мама, ты прости...»

— А с ним особенно не могу, — продолжала мать. — Понимаешь, не могу. Ведь он всё-таки сирота. Как вспомню Наташу и как она мне сказала: «Береги мальчика, пусть будет счастливым...» Помнишь? Помнишь, как мы сюда приехали, все вчетвером жили в палатке? А ту ночь помнишь, когда прибежали и сказали, что Колю засыпало? Наташа платок на голову накинула, бежит к обвалу... А как её оттуда вели? Вся в снегу, руки ледяные и молчит... И мальчик маленький такой родился. Она потом всего две недели жила.

Алёша вдруг почувствовал, как у него озябли ноги, и поджал их под себя. Его кровать скрипнула.

Послышались мягкие шаги отца.

— Ты с ним завтра будешь говорить? — спросил он, прикрывая дверь.

Что ответила мать, Алёша не слышал.

Теперь свет в их комнате, которую до сих пор звали детской, был такой, как всегда: сумеречный, серый. Ста-

ло тихо. Алёша услышал, как за окном позвякивает цепью ручная волчица Томка. Он подошёл к окну. Томка сидела на голубом снегу — чёрная, с острыми ушами, очень маленькая и одинокая.

Холодно там... Как это он хотел сказать? «Мама, прости...» Его мать звали Наташей, и отец погиб под обвалом! Значит, его отец — Николай Тимченко. Геолог. Герой. Он хорошо помнит лицо отца. Его портреты висят в школе и в городском клубе. Алёша попытался вспомнить лицо матери. Он часто видел её карточку, но так ни разу и не всмотрелся как следует. Он сирота, приёмш. А Никита — родной. Вот почему мама пожаловалась отцу на него, на Алёшу. И в воскресенье в кино не взяла — за двойку по алгебре. И в магазин его посылает. И на почту — его... Только и слышишь: «Никита старше, у Никиты уроки трудные». А у него лёгкие?..

Утром, когда Алёша вышел в столовую, там уже стояла высокая разукрашенная ёлка и пахло хвоей. Снова горел свет, и мать накрывала на стол.

— Завтракать, мальчишки! — позвала она и побежала на кухню: подгорало молоко.

Мама сидела спокойно только по вечерам. С утра она бегала: сначала по дому, потом к сараю, колодцу, потом в школу вместе с ними — она была учительница.

Отец склонился над тетрадь, а Никита с озабоченным видом стоял подле него. Алёша покосился на них. Конечно, будешь отличником, если помогают готовить уроки! Алёша, громыхнув стулом, сел за стол.

— Не даётся тебе, брат, литература. Всё не то, — сокрушённо говорил отец, пыхтя трубкой. — Поди помоги матери, — обернулся он к Алёше. — Чего сидишь как в гостях?

«Попрекает... — подумал Алёша, направляясь в кухню. — И правда, в гостях...»

Он принёс самовар и уселся за стол. Никита уже ел, не отрывая глаз от учебника, который прислонил к кастрюле.

«Ему всё можно», — опять зло подумал Алёша.

— Ты бы дров наколот, — сказал отец.

Он смотрел на Алёшу исподлобья, натягивая длинный меховой сапог. После ранения нога у него не сгибалась. Ему, видимо, было больно, и он морщился.

Алёша демонстративно отодвинул тарелку и, не одевшись, вышел во двор. Он возвращался из сарая, когда на пороге показался отец.

— Чего раздетый бегаешь? Давно не болел? — спросил он. — Вы дурака валяете, а мать потом волнуется и ночей не спит.

Алёша остановился, подбородком придерживая верхнее полено. Он нарочно взял так много дров, чтобы было потяжелее.

— Если будет воспаление лёгких, — ответил он, — можете положить в больницу.

Отец вспыхнул:

— Разговариваешь! Вот уложу под Новый год спать, тогда узнаешь! Распустился...

Он прошёл мимо Алёши и, прихрамывая, стал спускаться по тропинке, которая вела на улицу. Их дом стоял на пригорке.

Алёша начал колоть дрова, раздражённо всаживая колун в полено. Мимо него, на ходу затягивая платок, пробежала мать.

— Поди поешь сначала, макароны стынут! — крикнула она и, как девочка, на ногах съехала по тропинке, догоняя отца.

Алёша завтракал один. Теперь он уже твёрдо знал, что уйдёт. В школе он покажется, чтобы дольше не хватились, а с последнего урока уйдёт. Он вынул из ранца приготовленные с вечера книжки и уложил туда хлеб, консервы, копилку, смену белья.

Теперь всё... Двери из спальни и детской в столовую открыты. Было очень тихо, пусто и просторно. Сейчас он возьмёт карточку Наташи — своей мамы, она висит в спальне. Но карточки там не было. Алёша не заметил, когда её сняли. Проходя мимо ёлки, он задел за нижнюю ветку, и ёлка закачалась, зазвенела, тускло поблёскивая бусами и золотой канителью. С тихим шорохом ему под

ноги упала игрушка. Это была очень старая ёлочная игрушка, сделанная из ваты: крошечное гнездо с жёлтыми птенцами.

Сколько Алёша помнил себя, эта игрушка всегда висела на ёлке. И каждый Новый год, даже тогда, когда Алёша был совсем маленький, она была для него воспоминанием детства. В кухне стоял холодный запах самоварного дыма, пригоревшего молока, вчерашней еды. Сегодня мама с утра не топила, она придёт из магазина и будет печь пироги к вечеру. Алёша вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Томка рвалась и выла ему вслед. Алёша прикрепил лыжи, оттолкнулся обеими палками и, не оглядываясь, побегал. Томкин вой и звяканье цепи слышались всё глуше и глуше.

* * *

Алёша решил идти не на вокзал, где можно было встретить знакомых, а на соседнюю станцию, за девятнадцать километров, и там сесть на ленинградский поезд. Он добежал уже до окраины города. Здесь стоял недостроенный дом. Сквозь окна в противоположной стене падал лунный свет, пронизывая дом насквозь. Казалось, что он освещён. Теперь Алёша будет жить в городе, в котором светло зимой и который уже весь построен. Сколько Алёша помнил себя, всегда вокруг него стучали молотки, гудели землечерпалки, громоздились горы брёвен, кирпичей, корыта с известью. Его дом был первым на улице, её началом. И учиться Алёша начал в маленькой бревенчатой школе, а второй класс уже заканчивал в новой, с широкими окнами. Теперь он поступит в ремесленное училище, получит форму и будет жить совершенно самостоятельно.

Город кончился. Перед Алёшей лежало белое, холодное, насквозь пронизываемое ветром пространство, за ним была станция, за ней — людный большой Ленинград. В низком сером небе висели бледные крупные звёзды. Сейчас, в декабре, они были ещё видны и днём, но ночью делались гораздо ярче. С января они исчезали на

всё более долгое время, всё отчётливее делалась разница между днём и ночью, всё розовее становились рассветы. Солнце ещё не появлялось, но отсветы от него, горячего, плывущего где-то за горами, окрашивали белые склоны в бледные перламутровые цвета. Свет, тепло, пробуждение гор — всё это было ещё впереди. До этого были долгие северные, похожие на сумерки дни. Но Алёша не боялся их и любил. Любил в этих сумерках бежать на лыжах в школу и потом возвращаться домой, к тёплому голубому окну... Этого никогда больше не будет.

Где-то очень далеко раздались стук и свист, такой тихий, что казалось, свистит человек, а не паровоз. Алёша остановился и вслушался. Что-то тёмное преградило ему дорогу. Мимо него прошёл олень, за ним другой, третий... Олени шли не спеша, далеко и плавно выбрасывая вперёд мохнатые ноги, а Алёша всё стоял, и поднятый ими снег зыбкой стеной крутился перед ним. Он хотел вслушаться, но стук поезда заглушало другое приближающееся движение. Чей-то голос крикнул: «С дороги!» — и Алёша, узнав этот голос, инстинктивно и сразу же рассердившись на себя за это, крикнул:

— Папа!

Запрокинутая назад натянутыми вожжами морда лошади с длинными белыми ресницами замерла над ним. Алёша сразу узнал её... Это была Метелица — гордость конной базы города, маленькая, белая, как снег. Она остановилась, потому что натянутые вожжи велели ей остановиться, но вся она ещё была движение: копыта её переступали, ноздри дышали порывисто, как на бегу. Отец приподнялся в санях, громадный, запорошённый снегом.

— Ты откуда взялся? — спросил он недоуменно.

Алёша пробормотал что-то невнятное. Он совсем растерялся.

— Ну лезь, дома разберёмся.

Алёша молча снял лыжи, сунул их в сани и сел рядом с отцом.

— От меня попало, так матери надо праздник портить? Тоже нашёл время для прогулок!

По тону отца было слышно, что он очень огорчён.

Алёша молчал. Отец чуть-чуть опустил вожжи.

Метелица, нетерпеливо переступив ногами, нагнула голову и пошла.

Пустое запарошённое снегом поле стремительно откатывалось назад. Где-то очень-очень далеко свистнул паровоз.

— Продрог? — отец старался перекричать шум ветра. — А я, брат, шампанского купил. — Он обнял Алёшу одной рукой, чтобы согреть его.

Недостроенный светлый дом промелькнул мимо них. Начинался город. Длинная вереница больших и маленьких домов тянулась к тёмной полосе гор, в которых светилась цепочка рудничных огней. Снег, лежащий по самые окна, был ярко, разноцветно освещён. Хотя было ещё рано, ребята не утерпели, и во многих домах уже зажигали ёлки.

Подле тропки, ведущей к их дому, Метелица остановилась.

— Тащи домой. — И отец подал Алёше две большие бутылки. — Смотри не разбей! — крикнул он вслед, увидев, как Алёша, неловко взяв лыжи под мышки и в обе руки по бутылке, стал карабкаться в гору.

Все окна их дома были освещены, но ёлку ещё не зажигали. Это происходило торжественно, всегда в одно время, и мальчиков, так же, как и тогда, когда они были совсем маленькими, на это время запирали в детской.

Дверь была приоткрыта, и на Алёшу сразу пахнуло теплом и праздничным запахом горячего теста. Мама выглянула из кухни.

— Я так и думала, что папа тебя с собой взял. Достали? — Она взяла у него из рук холодные тяжёлые бутылки.

Она говорила спокойно, но Алёша видел, что она чем-то взволнована. На плите зашипело, и мама кинулась туда, на ходу поставив бутылки на стол. Томка по случаю праздника была допущена в дом и лежала, вытянув перед горячим пламенем плиты узкое, гибкое тело. В столовой Никита накрывал на стол. Он озабоченно расставлял на скатерти приборы.

— Где ты пропадал? — оглянулся он на Алёшу. — Мама тревожилась.

Алёша с удивлением увидел, что Никита тоже взволнован и глаза у него какие-то подозрительные. Это было странно: Алёша ещё никогда не видел, чтобы Никита плакал. Алёша с облегчением снял тяжёлый ранец и спрятал его за сундук. Было очень тепло.

— Мальчики, идите в детскую! — крикнула мать. Она вышла из спальни, преобразившаяся, в чёрном блестящем платье, и сказала с таинственным, счастливым выражением, так же как говорила и двенадцать, и десять, и пять лет тому назад: — Подите на минуточку, сейчас что-то будет. Ну! — Она махнула рукой и нечаянно уронила платок. Алёша с удивлением увидел, как Никита каким-то совершенно новым, бережным и взрослым движением поднял этот платок и подал матери. Дверь в столовую закрылась. Мальчики сидели в тёмной детской. Послышались шёпот отца, звяканье ёлочных украшений. В наступившей тишине Алёша услышал какой-то новый, непривычный шум. Это тикали часы.

— Тебе что, часы подарили? — спросил он, стараясь заглушить в себе вновь нахлынувшую зависть.

Никита подвинулся к нему поближе.

— Алёшка, слушай, я сегодня узнал очень важную вещь. Это часы моего отца Николая Тимченко. Вот... У меня были ещё мама и папа... Ну, Наташа и Коля, знаешь? Так вот, я их сын. Их карточки теперь у меня... — И он показал две фотографии над своей кроватью и взял Алёшу за руку своей большой горячей рукой. — И моя мама, Наташа, велела мне об этом сказать, когда мне минет шестнадцать лет, и подарить часы отца.

— Мальчики, готово! — Дверь в столовую широко распахнулась. Тонкая, с лёгкими волосами, освещённая сзади колеблющимся светом ёлочных свечей, на пороге стояла мать.

— Мама зовёт, — сказал Никита и потянул Алёшу за руку.



ЗЁРНА

Район этот был освобождён весной, несколько месяцев тому назад. Пассажирские поезда ещё не ходили здесь, и состав наш полз медленно, громыхая теплушками, до отказа набитыми людьми, осторожно прощупывая рельсы, а на подъёмах паровоз фыркал и задыхался, словно старая лошадь.

В дверях теплушки, опустив ноги в изношенных, запылённых сапогах, сидел солдат. Сзади он казался совсем молодым, по-мальчишески ещё узкоплечий, с лёгкими, тонкими, очень светлыми волосами. Но когда на станциях люди спускались из вагона, то видели, что лицо у него гораздо старше, чем казалось, — серое, утомлённое.

Сначала думали, что ехать ему недалеко, потому что он не устраивался, как все, в вагоне, не спорил из-за места, а сидел у дверей, положив подле себя вещевой мешок. Но пошёл уже второй день пути, а он по-прежнему сидел. И даже ночью люди, проснувшись, видели огонёк сигарки и светлую голову в чёрном пролёте дверей.

Солдат ни с кем не разговаривал, однако скоро в вагоне уже знали, что он контужен, освобождён от службы под чистую и теперь возвращается домой. А что там — неизвестно. Фашистов прогнали весной, но писем ни от жены, ни от соседей не было.

И на каждой станции люди вопросительно и тревожно смотрели на солдата: не здесь ли? Потом подходили к дверям и, столпившись, загораживая свет, молча разглядывали разрушенные дома и прямые чёрные трубы.

Мы раньше никогда и не думали об этих трубах, скрытых внутри наших домов. И только во время войны оказалось, что именно они остаются на месте пожарниц, длинные, закопчённые, верстовые столбы военных дорог.

Во время останки в теплушке становилось жарко, сухая, как пепел, пыль нависала в воздухе, и слышалось только тяжёлое дыхание людей. И в этом молчании, и в толпе у дверей, и в глазах у солдата было одно и то же — горечь и злоба.

— Ничего, отстроятся... Вон и брёвнышки подвезли, — сказал старик, который сидел подле солдата.

Старик дымил старой, похожей уже на уголёк трубочкой, и слова пробивались сквозь усы с дымом. И так же, как дым, разлетались по теплушке, проникая в дальние её уголки, неуловимые, настойчивые и тёплые.

Был старик коренастый, с голубыми, вкось прорезанными глазами, а брови — как широко расставленные

усы: жёлтые, жёсткие, нависшие. Гимнастёрка вся выцвела, но была аккуратно выстирана и заправлена.

От него-то — старик оказался словоохотлив — все в вагоне узнали о молодом солдате. Они были из одного колхоза, и воевать им тоже пришлось в одной и той же части. Старик отвоевался, как он говорил, по «сроку жизни» и ехал домой вместе с молодым. Он всё уговаривал того лечь уснуть, а на станциях долго бродил среди женщин, продававших печёную картошку, молоко, яйца, и, вернувшись, совал молодому то лепёшку, то луковицу, то круглый, тёмный, готовый брызнуть соком помидор.

Молодой ел молча и смотрел на блестящую зелень деревьев, уцелевших в чёрных, словно срубленных морозом садах, порой говорил тихо:

— Вот уцелел же дом... И тоже подле путей...

Но потом снова затихал неподвижно, борясь с усталостью, в напряжённом ожидании беды.

— Ну сиди, сиди, ладно уж, — говорил старик и шептал кому-нибудь из соседей, словно оправдываясь:

— Молодой... привычки нету... — И, хотя соседу было лет под сорок, добавлял: — Вы, молодые, как росли? Под солншком...

На одной из станций старик вернулся с базара, бережно прижимая к себе большую корзину.

— На развод дали. По пятёрке штука, — торжественно сказал он и приоткрыл крышку. Там в рябом полумраке щебетали и двигались вихрастые худенькие цыплята. Порой среди сплетённых прутьев высывались чешуйчатая лапа или тоненький, словно бумажный, полуоткрытый клюв. Старик то и дело наклонялся к корзине, вслушивался в живой её щебет, и долго потом его лицо хранило лукавое и счастливое выражение.

Даже молодой, увидев цыплят, уселся на пол подле корзины и улыбнулся — всё лицо его осветила эта улыбка. Пошарив в корзине, он вынул одного цыплёнка. Тот сразу обжился на большой открытой ладони — переступил лапками, ища равновесия, распустил редко оперённые крылья, потом собрался в комочек и стал старатель-

но и деловито выклёвывать из складки на рукаве что-то видимое ему одному. Потом солдат снова опустил цыплёнка в корзину, но долго ещё сидел подле неё, да так и уснул, положив голову на пол.

На минуту освободился он от своей тревоги, и его сразу же сбило сном. Косые узкие полосы света сквозь корзину падали на его лицо. Полосы шевелились, скользили, потому что цыплята двигались в корзине. То ли от этого зыбкого солнечного света, то ли оттого, что уснул он в спокойную минуту, лицо его было совсем мальчишеским и безмятежным. Но, как ни странно, старика, который сам уговаривал товарища отдохнуть, это не обрадовало.

— Не ко времени уснул, — сокрушённо сказал он. Наклонился над молодым, но, видимо, пожалел будить и снова вздохнул: — Не иначе, проспит.

Впрочем, трудно было теперь разбудить молодого. Даже когда поезд остановился и ритмичный стук колёс сменился шумом и говором большой станции, он не шевельнулся. Старик ещё раз взглянул на него и, спустившись из вагона, прошёл несколько шагов вдоль путей. Там, под тонкой, очень белой берёзкой, вокруг небольшого холма росла пшеница. Она уж совсем созрела, и стебли не выдерживали тяжести колосьев. Тяжёлые головы их клонились вниз, казалось, зерно сейчас осыплется на землю. Колосья сухо, жарко шуршали. И, наверное, оттого, что их было так немного среди зелёного луга и росли они необычно, не на поле, каждый колос был виден отчётливо, отдельно и казался особенно большим сквозь густую листву дерева.

— Могила, — недоуменно сказал кто-то.

Старик снял шапку, постоял неподвижно, потом начал осторожно срывать колосья и складывать в фуражку. Какая-то женщина подошла к нему, а потом, присев на корточки, стала выбирать из травы осыпавшееся уже зерно. Колосьев оставалось мало. Она что-то сказала старику, что — мы не слышали, слова относило ветром. Старик слушал её серьёзно, внимательно, подняв голову и приложив руку к уху. Когда он вернулся, сосед его, очень высокий — это было видно, даже когда он сидел, — тоже

в военной одежде, тот, которого старик называл молодым, спросил:

— Куда ходил, дед?

— К могиле ходил. — И старик протянул ему руку. На ладони лежали колосья — такие тяжёлые, так напоённые солнцем, словно земля отдала им всё тепло и свет, поглощённые ею.

— Чистое золото, так и светит, — понимающе и уважительно сказал высокий сосед.

— Правильно, золото, — подхватил старик и указал на спящего. — Это вот он, Василий, сеял.

— Да чья же это могила? — послышался с верхней полки любопытный женский голос. Но старик даже не поднял головы.

— Чья может быть на путях могила? Бой у нас за эту станцию был. Похоронили мы солдата, дружка Васиного. Ну, вот и посеял он этот хлеб — другу на память. Хорошо солдата помянули, что говорить!

— Хлеб богатый, вот я про что, — упрямо повторил высокий.

— А такого хлеба на земле-то ещё вовсе и не было, — медленно сказал старик.

Видно, давно хотелось ему рассказать эту историю.

Молодой спал крепко, и рука его, ослабевшая во сне, шевелилась в такт движению поезда. И всё-таки старик опасливо покосился на него — наверное, тот не любил лишних разговоров, — поглубже затянулся дымом: слушатель попался дорожный, неторопливый...

— Я его с малых лет знаю. Особенный был мальчонка, чудной, тихий. Другие больше в горелки, в «казаки-разбойники», а он всё в лес. Я сам охотник, лесные порядки знаю. Только в сравнении с Васей я в лесу как слепой.

Бежит, бывало, впереди, то под куст нырнёт, то через бревно перелезет, то щеглом щёлкнет, то сойкой свистнет, а птицы ему откликаются. Лёгкий такой, быстрый: бежит — травинку не ломает. Всё он в лесу знал. И как выдра с горки в ручей катается, наблюдал, и как лиса лисенят охоте учит... Не боялись они его, что ли? По-

мню, шли мы с ним как-то, видим, лежит птенец, чуть не раздавил я его. Птенец голый ещё, орёт, глаза затагивает, а сам так и норовит клюнуть. Мать над ним плачет, летает взад-вперёд, только крылья свистят. Тогда Вася птенца в листья обернул, чтобы его потом птицы не обидели за человеческий запах, влез на дерево, разыскал гнездо и положил обратно. Вот за что его птицы любили.

Старик снова раскурил трубочку и покосился на друга. Тот спал, раскинувшись, приоткрыв рот, светлые волосы прилипли к потному лбу. И успокоенное это лицо было молодо, похоже на лицо того мальчика, который пробирался, посвистывая, сквозь густую горячую листву с лёгким птенцом за пазухой.

— Я тогда пасечником в колхозе был, — продолжал старик. — Мне на пчелу удача. Дело тихое. Мёдом пахнет. Жарко, трава звенит. Вася всё ко мне бегал: любил очень. И вот как-то приносит он мне листочек от календаря. Спереди число, а сзади портрет, и написано про какого-то учёного. Будто выбирал он самые сортовые яблоки или те, что морозы перенесли, и потом в своём саду растил. Прочитал мне Вася этот листочек, мёду поел и убежал. Больше мы об этом не говорили, и я про учёного забыл.

Но только на будущий год мне Вася как-то говорит: «Пойдёмте, я вам что-то покажу». Повёл меня, а на поляне колосья растут. Вася, как тот учёный, выбрал самые полные колосья после засухи — а год был сухой — и посеял. Гордый такой! «Это, — говорит, — моё опытное поле. Хлеб будущего растёт». А я над ним не смеялся: вижу, человек мечту имеет.

Так он и вырос, и женился, а всё с этими колосьями возился. И книжки читает, и к агроному ходит, и колпачки какие-то из бумаги на колос надевает.

Жену он себе взял тоже тихую — дочку сторожа на путях. Девочка у них родилась.

А перед самой войной посеял Василий свою пшеницу на целую сотку. Из всех колхозов ходили эту сотку смотреть. И он всем семена пообещал.

Тут война. Враги ведь — они всегда норовят к урожаю. И они близко, а мы в армию ушли.

Много времени прошло, и как-то я Васе говорю: «Урожай-то твой фашисты сняли». — «Нет, — говорит, — я свою сотку пожёг».

Я промолчал, но осудил. Как же, думаю, ничего не оставил? Ведь не навек ушли... А когда эту станцию освобождали, после боя похоронили Васиного дружка и сели подле могилы. Достает Василий кiset. А табаку у нас не было, я обрадовался: приберёг, думаю, скорей за трубочкой этой полез. Только достаёт Василий из кисета тот листок, где про учёного написано, и высыпает на руку зерно.

А время было весеннее, земля тает.

Вася на меня посмотрел, спрашивает: «Самая пора?» Я говорю: «И время и место здесь твоему хлебу».

Посеяли мы зерно вокруг могилы и пошли дальше. Не пришлось тогда домой зайти — стороной наша часть шла. Генералы очень спешили — сеять время, а фашист мешает.

А теперь, говорят, к могиле все ходят. На пробу берут. Вот проснётся, расскажу.

— Жив, значит, хлеб... — сказал высокий. — Давай-ка, дед, посею на пробу.

— На, милый, не жалко. — Старик подал ему горсть колосьев, подумал и прибавил ещё. Со всех сторон к нему потянулись руки, и он, даже не глядя в лица, щедро клал колосья в эти протянутые заскорузлые, усталые от войны руки, руки, которые так истосковались по труду на земле. Потом осторожно ссыпал оставшиеся колосья в чистый холщовый мешочек, подобрал несколько обронённых зёрен и бросил туда же. Стал завязывать мешочек, но глянул в дверь теплушки и охнул: «Подъезжаем». Он сунул мешочек за пазуху и выронил трубку. Теперь он растерянно шарил по истоптанному полу тёмными жилистыми руками, не глядя и не отрываясь от плывущих за дверью чёрных труб, и всё твердил:

— Добрались мы до своего места.

Высокий подал ему трубку, он опомнился.

— Вася, вставай, голубчик, приехали!

Молодой вскочил, спросонья метнулся к двери.

И сразу мучительная мысль, притаившаяся в самой глубине сна, пронзила его. Он понял только слово: «Приехали», — увидел чёрный остов дома и прыгнул вниз. Прыгнул неловко, не рассчитав, против движения поезда, и упал на бурую от пыли траву откоса.

Старик бросился было за ним, но, увидев, что тот уже поднялся и снова побежал, кинул ему вслед вещевой мешок. Но молодой не оглядывался, а бежал к чёрному остову маленького дома неподалёку от путей.

Состав наш замедлил на подъёме ход, и старик тоже соскочил, но обстоятельно и спокойно и прошёл ещё немного рядом с вагоном, принимая мешок, чайник, корзину, которые передавали ему на ходу. Потом отстал, поднял мешок товарища и пошёл вслед за ним.

Чей-то крик — не то плач, не то смех — послышался нам. Навстречу молодому бежала женщина. Она бежала, распластав тонкие загорелые руки, закинув голову, и все мы видели её худое, счастливое, большеглазое лицо. А из-за чёрной пустой трубы всплыл живой дымок. За развалинами виднелся сложенный наскоро сарай, а подле дверей на штабеле новых досок, как на крыльце, стояла девочка. Она растерялась и не знала, бежать ей навстречу или ждать. Кажется, она всё-таки побежала...

Мы уже не видели больше ни солдата, ни жены его, ни старика, только дымок ещё поднимался над лесом, и все успокоенно следили за тем, как он растворяется в небе, мешаясь с низкими быстрыми облаками.

— Ничего, отстроится, — сказал высокий. Он сидел теперь на месте молодого солдата, опустив длинные ноги, и завязанный вещевой мешок лежал подле него — видно, тоже было близко до дому.

— Ничего, — повторил он, и все знали, что сказал он это для самого себя. И теперь, когда поезд подошёл к станции, никто уже не смотрел на трубы, и разговоры в вагоне не умолкали, и вечерний ветер заносил в теплушку влажный запах травы.

Поезд шёл всё быстрее. Уже расплывались в сумерках очертания деревьев, острые углы колодезных журавлей, лежащие в отдалении светлые полосы пшеницы. И чем дальше в глубь страны уходил наш поезд, тем больше её было.

И казалось, всюду здесь прошёл невысокий светловолосый солдат с застенчивой улыбкой. И всюду, где он проходил, мир ложился на землю, дым взлетал над жильём и высокие золотые колосья поднимались из брошенных им зёрен.



ПИСЬМО ОТ ШЕСТНАДЦАТОГО ИЮЛЯ

Ворота так же, как и до войны, висели на одной петле. Ветер покачивал их, но они были тяжёлые, железные и едва двигались под его напором. Из окон во двор падали полосы света, и в них медленно и легко, совсем низко над землёй, словно белая сухая пыль, кружился снег. Было уже поздно, и видно, что по двору давно никто не проходил. Снег лежал белый, нетронутый, как в лесу. В центре двора росло несколько деревьев, их тоже силь-

но занесло снегом. От этих деревьев и нетронутого снега Алексею Николаевичу казалось, что он далеко от города, и трудно было поверить, что позади него, на улице, ярко горят фонари, шуршат автомобили и стучат по-зимнему торопливые шаги прохожих.

Алексей Николаевич подошёл к своему окну. Оно было тёмным. Легонько, чтобы не напугать мать, он раз, потом другой стукнул в окно. Мать всегда спала чутко, и его удивило, что в комнате не зажигается свет. Он постучал сильнее, подошёл к двери. На стук и звонки тоже долго никто не откликнулся, потом послышались шаги. Кто-то, сильно скрипя ступенями, спускался с лестницы от соседей.

В домике было всего две квартиры: одна внизу и другая, такая же маленькая, наверху. За дверью долго гремели цепочкой, потом отворили, и он увидел соседку, сонную, в накиннутой на плечи шубе. Она всмотрелась в него и, узнав, вскрикнула:

— Алёша!

Одной рукой она обняла его, а другой всё запахивала старую, с оторванными пуговицами шубку.

— Анна Михайловна-то как расстроится! — заговорила она о матери, сразу поняв его вопросительный, тревожный взгляд. — В деревню к сестре, к Марье Михайловне, в гости поехала, дня через три будет. И не ждали тебя пока. Совсем, что ли, отпустили? — спрашивала она, обметая с него снег.

Ключ висел, где и раньше, на гвозде у дверей.

Он открыл дверь и вошёл в комнату. Окно не было завешено, и мягкий голубоватый свет, такой, словно он исходил не от луны, а от снега, заливал комнату. Все здесь стояло на прежних местах: стол посередине под висячей лампой, кровать матери за шкафом и его диван подле дверей. Он зажёл свет и сел на валик дивана. Соседка стояла на пороге. Кошка, спящая на диване, проснулась, горбом выгнула спину и на вытянутых костлявых рыжих лапах подошла к нему. Щегол в клетке под окном, решив, что уже наступил день, засуетился.

Это было возвращение.

То самое возвращение, о котором каждый день в течение долгих лет говорили, а ещё больше думали столько людей. То самое возвращение, которое столько раз казалось невозможным, в которое немислимо было поверить и в которое всё-таки верили все, потому что перестать верить — значило не вернуться и не дожидаться. То самое возвращение, о котором написано столько стихов и песен и о котором так трудно сказать словами. Потому что оно — в родном запахе, который разом пробуждает воспоминания, в заштопанной занавеске, висящей на окне, в том движении, с каким человек, много лет не переступавший родного порога, привычным движением, не глядя, поворачивает выключатель.

И только возвращение было концом войны. Потому что тот день, когда прогремели последние выстрелы и когда упали последние убитые этими выстрелами люди, был только началом конца войны. Конец этот приходил к людям в разное время: одни знали о нём тогда, когда ещё была война. Те, которые воевали, узнали о нём в ожидании следующего выстрела, уже не прогремевшего никогда. К тем, которые ждали, конец войны пришёл позже, чём о нём было сказано: в письме, написанном уже после войны. А к скольким конец войны так и не пришёл никогда! Всегда в комнате будет пустовать чьё-нибудь место, карточка будет висеть на стене, и всегда будет пуста подушка подле той, которая не дождалась, навсегда в этой комнате останется война. Не пережитая и оставшаяся лишь воспоминанием, а реальная, отнявшая у жизни её суть. Потому что первое слово войны — разруха и последнее слово — возвращение. Ко многим ещё оно идёт. Спешат шаги за дверями, цепляются женские руки за осыпанные снегом плечи, зажигается свет в комнатах, просыпаются дети, кошки и щеглы. Тогда наступает конец войны.

— Дрова лежат в сених, а картошка — в мешке за шкафом, — сказала соседка.

Алексей Николаевич видел, что она хотя и рада ему, но устала, озябла и хочет спать.

Он сказал ей, чтобы она не тревожилась — завтра они обо всём поговорят. Ещё раз проскрипели ступени, и он остался дома один. В комнате было холодно. Открытое окно, пыль, пустой, с гладко расправленной скатертью стол делали её нежилой.

Он завёл часы и затопил печь. Сколько раз за эти годы он так начинал свой отдых! Где бы он ни ночевал, он всегда заводил часы, потому что любил их тиканье. Он зажигал огонь в чужих печах с незнакомыми заслонками, заводил часы с незнакомым заводом, а наутро уходил. Чужая печь с открытой дверцей оставалась позади него, и часы тикали в пустой незапертой комнате.

Сейчас он зажёт огонь и завёл часы навсегда. И треск дров, и знакомый с детства чирикающий, чуть запинаящийся ход часов снова вернулись в его жизнь. Мало-помалу возвращались, а вернувшись, уже оставались навсегда знакомые вещи: полотенце, вышитое матерью с витиеватым вензелем посередине, старый лыжный костюм, который он носил дома, чашка с узкой длинной трещиной, продавленное низкое кресло. Когда он умылся, сел в это кресло и налил себе крепкого чая, к нему на колени забралась кошка. Было уже очень поздно, но спать не хотелось.

Со всех стен на Алексея Николаевича смотрело его собственное лицо. Большая карточка, последняя, присланная из Вены, стояла на письменном столе подле чернильницы — бронзового оленя, — которую он почему-то забыл. На столе по-прежнему были разложены ручки, пресс-папье и стопкой лежали те книги, по которым он готовился к государственным экзаменам в лихорадочные ночи перед выпуском.

На узких висячих полочках у окна были расставлены маленькие горшки с кактусами. Неизвестно, за что, наверное, за нелепость, он их очень любил. Всё здесь ждало его и жило в ожидании его.

И он, сидя в кресле, вдруг отчётливо понял и представил себе, как час за часом, день за днём, год за годом здесь вечерами сидела мать. Так же тикали часы и было очень пусто и тихо. Он представил себе, как она медленно дви-

галась по комнате, терпеливо ухаживала за кактусами, которые ненавидела, перебирала книги, штопала чулки, слушала радио и неотрывно, непрестанно думала о нём.

А он? Боже мой, как невероятно далеко был он! Как странно сейчас представить себе, что он прошёл, прежде чем вернуться сюда! С какой силой надо было любить его, чтобы беречь к его возвращению эти кактусы, о которых он вспоминал так редко, а с грустью только однажды, когда увидел кактус в доме немецкого пастора! Но эти круглые, смешные, а тот колючий, тёмный, и рос он в узком иноземном глазированном вазоне. А как страшно, наверное, было матери в этом домике во время тревог, как плакала соседка, как было холодно и темно... Здесь горела тогда керосиновая лампа и топилась не эта изразцовая, а маленькая железная печурка. Форточка всё ещё была забита железным листом с дырой для трубы.

Да, трудно было ждать его. Ждать шагов почтальона. Мелко семеня старыми ногами, бежать на каждый стук, торопясь отворить дверь и смотреть, что принесли: извещение или письмо?

Алексей Николаевич подошёл к шкафу и открыл его. В деревянной резной шкатулке он нашёл свои письма, сложенные одно за другим от первого и до последнего. Тогда он снова сел в кресло и стал перечитывать их. Но сейчас он перечитывал их, уже не помня о том, как и в каком состоянии писал их. Он перечитывал их глазами матери, волнуясь и переживая за неё, каждое слово, когда-то написанное его рукой. Как он мог прислать такую короткую первую открытку? Почему в этом письме забыл написать «целую»? Почему здесь не спросил о здоровье? Она сидела сгорбившись, поправляя очки, и руки, узловатые в суставах пальцев, наверное, дрожали, перебирая эти письма. Зачем он написал в этом письме, что уходит на задание? Разве могла она уснуть потом? Наверное, вертелась с боку на бок, вздыхала, зажигала и снова гасила свет. Милая, старенькая...

Вот письмо от десятого июля. И тут он внезапно остановился. Что же было потом? Ведь одиннадцатого он

был ранен и попал в плен. Шесть месяцев мать не имела от него известий: шесть месяцев вечер за вечером она была одна, и шесть месяцев день за днём почтальон проходил мимо. Ему стало очень страшно: здесь, в этой комнате, в этой тишине, в этом пустом кресле что пережила она, думая о нём, и как у неё хватило сил пережить это?

Он вспомнил, как встретил в одном маленьком городке женщину. Она пришла в амбулаторию и молча встала в очередь на запись. Вся она была как каменная: и лицо и рука, зажавшая листок бумаги. Она подошла к окошку, но тут в лице её что-то дрогнуло. «Зачем же я пришла? — спросила она очень тихо. — Зачем?»

Она подходила то к одному, то к другому и всех спрашивала всё громче и громче:

«Зачем? Мне почтальон в дверях извещение подал, — отрывисто говорила она. — А я прочла и пошла сюда. Зачем? Зачем мне теперь лечиться? Жить зачем? У меня один сын был...»

И по её лицу было видно: только сейчас она поняла, что написано в извещении.

Она вышла на улицу, твердя это слово, и пошла по тротуару, не видя, куда идёт, и долго ещё Алексей Николаевич слышал, как она говорила: «Зачем?»

Сюда не принесли извещения. Но как страшно было шесть месяцев ждать его! Он снова взялся за пачку. Сейчас будет его первое письмо после плена. Он хорошо помнил его. Оно было написано на плотной голубоватой бумаге и начиналось словами:

«Мама, а я жив».

Но следующей в пачке лежала открытка. «Шестнадцатое июля» — стояло на её уголке. Незнакомым почерком, круглым и немного детским, было написано: «Мамочка, добрый день, я ранен в руку неопасно, лежу в медсанбате, и пишет тебе под мою диктовку сестра».

Алексей Николаевич ничего не понимал. Письмо за письмом, милые, ласковые, весёлые. Он читал их, перечитывал, спеша, и всё ещё ничего не понимал.

«Рука в прежнем положении, но настроение бодрое, отдыхаю, как ты?»

«Ты пишешь, что я стал писать ласковые письма. Просто лежу, брожу, спешить некуда. Много думаю о тебе. Может быть, сейчас впервые понял, что ты значишь для меня».

«Не волнуйся, рука загноилась, вот и затянулась эта история. Руку не велят тревожить. Видишь эти каракули? Пробую писать левой рукой. Больше не буду. Смешно и ни к чему. Лучше буду диктовать».

«Ты спрашиваешь, здесь ли девушка из санбата, о которой я часто писал тебе? Разве часто? Уж не помню что. Напиши мне, что я писал тебе о ней, будь добра. Да, она здесь. Если бы ты знала, какое у меня сегодня замечательное настроение. День такой славный, и опавшие листья на дорожке совсем золотые — весь день от них кажется солнечным».

Алексей Николаевич ещё раз перечитал это письмо. Теперь ему всё стало ясно. Их писала Галочка. Ну конечно! Ведь ни с кем больше не разговаривал он о доме, о матери, потому что разве кто-нибудь в мире умел так слушать, как она, широко открыв круглые серые глаза? В течение нескольких месяцев Галя всегда была подле него. И во время операции, деловая и очень молоденькая, больше похожая на девочку, которая играет в больницу, чем на медицинскую сестру, и в короткие часы отдыха. Как она понимала его, оказывается! Разве могла бы она иначе писать такие письма, что даже мать верила им? Всё в них было его: и его жизнерадостность, и любовь к матери, и вопросы о кактусах. И как это она запомнила о кактусах? И почему она вообще запомнила всё, что рассказывал он ей? Почему она так внимательно слушала его, почему так сердито кричала: «Доктор, уйдите из-под огня...»

Он схватил следующее письмо.

«Помнишь, как мы летом жили на Мете, и я ловил карасей?»

Ну, конечно, это ей он рассказывал про карасей. Они тогда сидели на пороге медсанбата, и она так слушала его, будто всю жизнь её интересовали только рыбы, и притом караси. Заходило солнце, она была вся розовая, и лёгкие волосы завитками падали на шею.

Галенька!

Потом он поцеловал ей руку, а она расплакалась и убежала... Дурак! Какой же он дурак!

Подумать надо, что на другой день он извинялся и дал слово, что больше это никогда не повторится. Что всё это время он так старательно и безуспешно забывал о ней.

Дурак!

Он взял последнее письмо, написанное круглым почерком.

«Дорогая Анна Михайловна, простите меня за то, что я писала Вам письма вместо Вашего сына. Теперь я уже знаю, что Алексей Николаевич жив, бежал из плена и находится в другой части. Мы его больше никогда не увидим. Я писала Вам письма, потому что верила в его возвращение. Знала, как он любит Вас, и хотела, чтобы Вы были спокойны, чтобы у Вас хватило сил его ждать. Я не знаю, что бы сделала, если бы он так и не вернулся. Я была бы виновата перед Вами за свою ложь. Теперь он уже, наверное, написал сам. Может быть, мои письма сберегли Вас для него за это время. Я только прошу об одном, дорогая Анна Михайловна, Вы ему никогда не пишете и не говорите о моих письмах. Хорошо? Я была у него медсестрой. Только когда он вернётся, а он обязательно вернётся к Вам, Вы поцелуйте его один раз от меня, только так, чтобы он не знал, от кого это. Будьте счастливы и Вы и он».

Алексей Николаевич положил письмо и взял следующее. Оно было на плотной голубоватой бумаге и начиналось словами: «Мама, а я жив».

Застало бы оно мать, если бы Галя не писала ей?

Милые круглые глаза смотрели на него, и впервые он понял, что было в этих глазах.

Теперь нужно отыскать их в маленьком приволжском городке, о котором ему рассказывала Галочка. Он придет туда, постучит и услышит шаги за дверью. Галя откроет ему дверь, а он будет весь в снегу.



Елена Борисовна Успенская (1916–1966) — советская писательница, драматург, журналист. Родилась в Петрограде, в семье бывшего члена Боевой организации партии эсеров, литературного критика Б. Г. Успенского (1886–1951) — сына писателя Г. И. Успенского. Училась на биологическом факультете МГУ. В 1936 году вышла замуж за поэта Льва Ошанина (в соавторстве с ним написала две пьесы).

Печататься начала в 1938 году. С 1942 года Елена Успенская работает сначала в «Пионерской правде», затем в «Комсомольской правде» разъездным очеркистом. Участница Второго Всесоюзного съезда советских писателей, прошедшего в 1954 году.

Основная тема её произведений — поиски призвания, приобщение к науке, пробуждение чувства первой любви: повесть «Наше лето» (1952), сборники рассказов «Я звоню с аэродрома» (1957), «Третья заповедь» (1960), «Вчера, сегодня, завтра» (1963) и др.

... Меня особенно привлекает в творчестве Елены Успенской «обыкновенность» её персонажей, «обыкновенность» их человеческих путей и судеб — при «необыкновенности» их душевных, моральных качеств. В этом есть большая и простая правда, традиционная в русской литературе, как ни велико различие между старой, дореволюционной моралью и новой, советской. Автор досконально, душевно знает то, о чем пишет, она и сама испытала все трудности, радости, печали, утраты, восторги, боль поражений и счастье побед — словом, все то, что пришлось на долю последних двух поколений советских людей. Отсюда и та достоверность и та добрая улыбка, с какой она живописует своих «больших маленьких» современников.

Е. Успенская любит людей — не людей вообще, как некую категорию, а живых, в живом обличье, во плоти и крови, — девушек Доню и Варю, чистые, ясные души; старого врача Ивана Даниловича; «строгую юношу» студента Никиту Орехова, лётчика Шуру, верного человека; и во имя этой любви она страстно ненавидит дурных людей, состоящих как бы в хитром заговоре против добра и красоты. Именно в этом скрытый пафос её писательского труда. Не случайно книга названа «Осторожно, любовь...». За светлые чувства, чистую любовь, верную дружбу активно борется писательница.

Юрий Нагибин

ISBN 978-1-970342-01-7



9 781970 342017

